

Розділ 7.

ИНТЕЛЕКТУАЛЬНИ БИОГРАФІЧНІ РЕМАРКИ

УДК 101.9

Алексей Роджеро

ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТСКОЙ ФИЛОСОФИИ

60–70-Х ГОДОВ (часть 1)

Публикуемая здесь беседа с профессором Алексеем Николаевичем Роджеро выпускников философского факультета Одесского национального университета имени И. И. Мечникова Валентины Рожковской и Екатерины Герман является расширенным вариантом интервью, взятого В. Рожковской и Е. Герман у А. Н. Роджеро в мае 2017 года в рамках проекта «Устные истории философов» (руководитель проекта – профессор И. В. Голубович).

Ключевые слова: история философии, советская философия, философское образование.

*«В философии ничего не предрешено
и не необратимо».*

А. Н. Роджеро

– Алексей Николаевич, мы хотели бы спросить о Вашей жизни в контексте Вашего отношения к философии. Давая согласие на это интервью, Вы поставили условием вопросы, касающиеся именно этой стороны Вашей жизни и Вашей биографии.

– Да, я ведь не собираюсь писать что-то наподобие «Портрета художника в молодости» Джойса или «Молодых лет Вильгельма Мейстера» Гёте. В этой связи я всегда привожу слова Маяковского: «Я поэт – тем и интересен». Думаю, если я чем-то интересен, то прежде всего отнесенностью к философии.

– Когда-то Вы сказали, что Ваш путь в философию был «прямым». Расскажите, как Вы это понимаете и как это произошло.

– Хорошо, обратимся к началу, начало это всегда самое интересное – и самое сложное. Потому что трудно отыскать настоящее начало: мы подходим, казалось бы, к какому-то краю, выходим на какую-то глубину, потом, оказывается, там есть еще глубина, а там еще и еще... Значит, мое движение в сторону философии происходило следующим образом. Моя сестра, которая старше меня на 11 лет, училась на инженера-гидротехника. И я, естественно, имел возможность знакомиться с различными книгами и учебниками по тем предметам, которые изучались в институте: по начертательной геометрии, теоретической механике, сопротивлению материалов, железобетонным конструкциям и другим. Но учебника по философии я не видел. Его, собственно, ещё и не было. Было некое сводное учебное пособие, где были представлены основные составные части

марксистского учения, называлось оно «Основы марксизма-ленинизма». Это был такой толстый «кирпич», в котором я ничего интересного для себя не находил. Но предмет философии, как самостоятельной дисциплины, уже был введён в программу высшего образования, но я об этом не знал.

И вот я вспоминаю такой случай. Было это, кажется, в классе 8-ом. Как сейчас отчётливо помню, я ехал в троллейбусе 2-ого маршрута, и на остановке на Садовой улице вошли два молодых человека, которые сели напротив меня (это был старый синий троллейбус, воспетый Булатом Окуджавой). Помню, был конец января, сильный мороз без снега, было часов 6-7 вечера. И вот эти сидевшие передо мной молодые люди, как я понял из разговора, студенты, делились своими заботами: у одного не сдана была математика, а у другого был «хвост» по философии. (По-видимому, это были студенты либо университета, либо технологического института.) И я сделал для себя поразительное открытие. Я знал, что есть философия, но не знал, что она изучается как институтская дисциплина. И вот эти оболтусы воспринимают этот предмет как какой-то «тяжкий»!

И уже в 9-м классе я решил готовиться к поступлению на философский факультет. Теперь следует сказать, что меня привлекало к этому направлению. Выбирая будущую профессию, я хотел удержать вместе две области знания и деятельности: мне были одинаково интересны так называемые «точные» науки и «гуманитарные» науки. Мне трудно было выбрать между математикой и физикой, с одной стороны, и литературой и историей, с другой. Узнав, что существует философия в системе образования, я стал думать о том, чтобы получить профессию по этой специальности и стал выяснять необходимые условия для поступления. В то время ежегодно издавались справочники для поступающих в Московский и Ленинградский университеты, где были философские факультеты. Тогда существовал также философский факультет в Киевской университете и философские отделения ещё в нескольких университетах страны. Я стал выбирать между Москвой и Ленинградом. Сначала предполагалось, что я поеду поступать в Ленинград, где жила наша родственница, тётя. Но у меня перед этим два раза подряд – из-за активных занятий спортом и простудных заболеваний – была ревматическая атака сердца. И было решено, что московский климат будет всё-таки здоровее. Мои родители, конечно, не очень хотели, чтобы я уезжал, но они уважали мой выбор. Тем не менее, мой отец решил проконсультироваться с Авениром Ивановичем Уемовым, который тогда заведовал кафедрой философии в Одесском университете. Отец сказал Уемову, что сын заканчивает школу и, по всей видимости, должен получить медаль, и хочет ехать поступать в Москву на философский факультет. Отец спросил, есть ли какие-то другие варианты в получении

философского образования. Уемов ответил, что философский факультет в Московском университете даёт хорошее образование, может быть, лучшее, которое есть в стране, и он сам там учился. Тогда отец спросил, а есть ли ещё какой-то другой путь, и Уемов сказал, что да, есть: можно получить образование, допустим, физическое или биологическое, а затем поступать в аспирантуру, писать диссертацию по философии и работать в этой области. И это тоже достаточно хороший путь, и он знает целый ряд удачных примеров, когда именно так поступали. Отец воодушевился этим ответом, но моя позиция осталась нерушимой: я сказал, что это окольный путь и я не хочу по нему идти, а хочу идти прямым путем.

Здесь есть ещё один момент, который я хотел бы затронуть, поскольку он тоже сыграл определённую роль в моем выборе. Примерно тогда же, когда я узнал, что философия есть в вузовской программе, я стал выписывать журнал «Вопросы философии» и стал углубляться в философскую проблематику. Но мне хотелось – помимо различных обзорных статей и критических материалов – самому познакомиться с работами Канта, Ницше, Фрейдя и других философов. В обычных городских библиотеках такой литературы не нашлось, но неподалеку от моего дома находилась научная библиотека имени Горького, и я решил туда записаться. Однако мне было отказано пользоваться библиотекой, потому что я ещё был только школьником. В то же самое время мой товарищ-сосед, с которым мы вместе занимались спортом, окончив восьмилетку, поступил в вечернюю школу, она ещё называлась школой рабочей молодежи. И вот он имел право пользоваться научной библиотекой, хотя учеба и книги его особенно не интересовали. Я тогда ощутил определённую дискриминацию: кто-то за меня будет решать, могу я читать книги, какие желаю, или не могу! И этот случай очень сильно повлиял на меня. Я решил, что я должен сделать все, что от меня зависит, чтобы у меня было полное формальное право доступа к тем источникам, которые мне нужны. (Кстати, в ту эпоху в библиотечной практике в нашей стране даже студентам, аспирантам, преподавателям и научным работникам следовало представлять специальные письма-отношения с места учебы или работы для доступа к книгам таких «буржуазных» и «реакционных» авторов, как Ницше, Фрейдя и др.)

Ретроспективно оценивая сказанное, я хочу сказать, что такой «прямой» путь в философию, несомненно, имеет свои очевидные достоинства, однако мне кажется, что мое философское развитие могло бы быть другим, может быть, более своеобразным и свободным, если бы я избрал философию не в качестве профессии. Потому что хотя, с одной стороны, на философском факультете можно было получить достаточно хорошее образование, но с

другой стороны, нужно было постоянно преодолевать определенные идеологические и идейно-теоретические рамки и ограничения. Всем известно, что в нашей стране единственно научной и правомочной формой философского знания был марксизм. Приобретя многое на философском факультете в плане культурной эрудиции и определённых мыслительных навыков и ориентиров, многим из моего поколения приходилось изживать известные идеологические и мировоззренческие клише и стандарты, которые навязывались официальным образованием. Уже на первых курсах становилось понятным, что та система, которая привилегированно обладала истиной, в действительности ею не обладала в полной мере, но обладала определёнными и очевидными недостатками. Я не могу сказать, что обучение на философском факультете сделало меня антимарксистом, вовсе нет. Однако мне было совершенно ясно, что марксистский способ мышления вовсе не является единственно возможным способом философствования. – **А.Н., хотелось бы спросить Вас в отношении каких-то книг, допустим, во времена Вашей юности, которые сыграли определенную роль в Вашем обращении к философии.**

– Вообще я считаю, что это очень важно, какую первую настоящую философскую книгу человек получает в свои руки и с какой начинается его движение в философию. К сожалению, ни в детстве, ни в ранней юности в моем распоряжении не было ни Платона, ни Канта, ни Гегеля. В домашней библиотеке были какие-то книги классиков марксизма. Это во многих советских семьях было, поскольку на работе в различных кружках это изучалось. Помню, что был том ленинского «Материализма и эмпириокритицизма» (кажется, еще была работа Энгельса «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии»), однако это не представлялось мне особенно интересным. Но я помню одно сильное впечатление, которое заставило меня думать о философии, оно было достаточно ранним, где-то в 8-ом–9-ом классе. В конце года необходимо было сдавать экзамен по геометрии. И в списке вопросов по программе среди множества вопросов, где надо было сформулировать определенные теоремы, провести доказательства и так далее, был первый вопрос, который касался таких понятий, как «аксиома», «постулат», «определение», «теорема». На школьных уроках эта тема обычно не освещалась преподавателями, а в нашей школе были достаточно хорошие преподаватели математики. В основном они ставили своей целью представить содержание предмета геометрии: формулировки теорем, способы их доказательств и тому подобное. И вот тогда, готовясь к экзамену, я залез в различные справочники, словари и энциклопедии и стал изучать эти вопросы. И они мне показались очень интересными. Например, вопрос об отличии

аксиомы и постулата. Если аксиома предполагает самоочевидное положение, то постулат не обязательно должен быть самоочевидным положением, он просто принимается как данность, не предполагающая доказательств. Двигаясь в этом направлении, я подошел к особенностям других геометрических систем, к неевклидовым геометриям. Как известно, судьба пятого постулата Евклида, утверждающего, что параллельные прямые не пересекаются, связана с тем, что первоначально он воспринимался как аксиома. А потом оказалось, что возможны геометрические системы, где обратное этому утверждение можно себе представить, поскольку там пространство обладает различной кривизной. В евклидовой же геометрии это предположение только постулат, а не нечто самоочевидное, как это казалось. Эти проблемы приводили меня в восхищение. Позже я читал у Эйнштейна о том, как на него в школьном возрасте огромное впечатление произвела строгость и красота построения евклидовой геометрии, ведь в ней знание представлено в виде небольшого числа положений, из которых затем чисто логически выводятся другие положения. Это исключительно стройная, ясная, логичная и удивительная конструкция. Она удивительна тем, что мы можем что-то получить новое из тех данных, в которых информация об этом новом явно не представлена, но может быть оттуда извлечена, выведена логически.

А Циолковский в своей автобиографии вспоминает, что он начал учиться читать в дошкольном возрасте, еще не поступив в гимназию. Где-то на чердаке родительского дома он нашел учебник геометрии и учился читать по нему. Ему было интересно, что там написано, и он прочитал о теореме подобия, где мы можем, зная данные, касающиеся одного предмета, затем вычислить свойства другого предмета (его высоту или расстояние до него), построив систему подобных треугольников. Он так и поступил: выбрал дерево во дворе, представил его высоту, построил систему подобных треугольников и вычислил каким должно быть расстояние до этого дерева. И Циолковский пишет, что, проделав все эти вычисления, он не поверил окончательному результату. Как можно действительное свойство действительной вещи получить с помощью бумаги и карандаша? Тогда он перепроверил этот результат, промерив расстояние веревкой и удивился, когда результаты измерения и вычисления совпали. Заключает Циолковский это воспоминание такими словами: «С этого момента я поверил в силу теории». Потом он создаст теорию движения корабля в безвоздушном пространстве, не имея практической возможности это непосредственно наблюдать и исследовать.

Возвращаюсь к Эйнштейну. Знакомство с евклидовой геометрией, как я уже говорил, привело его в восхищение. И Эйнштейн полагает, что все,

кто имеет склонность к занятиям наукой, не могут здесь остаться равнодушными и пройти мимо такого образца человеческих знаний, которым является евклидова геометрия. Так вот, я должен признаться, что то, что восхищало Эйнштейна, меня не очень восхищало. А вот восхищало как раз то, что можно размышлять и рассуждать о самом характере тех действий и операций, а также о понятиях и абстракциях, их выражающих. То есть не использовать интеллект для искусственного решения какой-то задачи или проведения определенного доказательства, а именно осмысливать, что представляет собой те или иные математические объекты и понятия, которыми мы выражаем наши с ними действия: генезис этих понятий, их логическое соотношение и так далее. Но это уже работа философская! И мы знаем, что в XX столетии возникло влиятельное и достаточное продуктивное по отношению к науке (хотя философски, может, и не вполне совершенное) направление – логический позитивизм, где цель философии заключается в том, чтобы осуществлять логический анализ структуры и языка научного знания. Эта концепция возникла и оформилась внутри Венского философского кружка (Мориц Шлик, Рудольф Карнап, Филипп Франк и другие), а затем получила некоторое уточнение и изменение в работах Карла Поппера. (Эти идеи во многом, конечно, инспирировались «Логико-философским трактатом» Витгенштейна.) В этом заключалась суть философской работы – осуществлять логический анализ. Не зная ещё, что такое философское направление существует, я как бы открыл его для себя таким полуслучайным образом, готовясь к школьному экзамену. После этого я стал знакомиться с научной и научно-популярной литературой, выходящей за рамки школьной программы, где я находил что-то подобное интересу, который был вызван у меня вопросом об аксиомах, постулатах и теоремах. Впоследствии я стал интересоваться литературой, где рассматривались подобные вопросы. Помню две книги, с которыми я тогда познакомился: это «Эволюция физики» Альберта Эйнштейна, написанная им в соавторстве с Леопольдом Инфельдом, а также книга индийского ученого Р. Неванлинны, посвященная проблемам теории относительности и неевклидовым геометриям. (Примерно в это время, где-то в середине 60-х годов, эти книги были переведены на русский язык.) Знакомство с вопросами, которые там обсуждались, способствовало укреплению моего интереса к философии, потому что мне было совершенно ясно, что все эти вещи, несомненно, имеют близкое отношение к философии: все это касается не одной только математики или физики, а касается общих вопросов человеческого познания, способов и методов, с помощью которых мы мыслим.

Если попытаться теперь вспомнить какую-то книгу, имеющую

непосредственное отношение к современной философии, то здесь я могу назвать «Слова» Сартра, которые были изданы в Советском Союзе с предисловием Миколы Бажана. Видимо, этот хорошо известный украинский поэт и культурный деятель обладал должной эрудицией, вкусом и тактом, необходимыми для того, чтобы ввести в кругозор советского читателя робота современного (хотя и «буржуазного», но считавшегося все же «прогрессивным») французского писателя и философа. Хотя эту книгу нельзя назвать вполне философской (это воспоминания о детстве, о вхождении в литературу, о призвании к писательскому труду), но написана она была человеком, который был не только писателем, но и философом.

То, что Сартр был философом, мне было известно ещё раньше в связи с дискуссией по поводу фильма Андрея Тарковского «Иваново детство», в котором была представлена трагическая судьба мальчика-подростка, испытавшего на себе ужасы войны. Это некая трагедия, но что это за трагедия? Это трагедия только войны или трагедия человеческого существования вообще? В нашей стране доминировала точка зрения, что трагедия невозможна в социалистическом обществе, так как в нем нет основы для трагедии, а есть возможность построения гармонических человеческих отношений. Но некоторые участники дискуссии, в том числе и зарубежные коммунисты, утверждали, что и в социалистическом обществе может быть трагедия, поскольку трагичность – это вообще человеческая ситуация. То есть основным предметом дискуссии стало выяснение возможности трагической ситуации не только как порожденной войной или какими-то другими экстремальными социальными обстоятельствами, но и как проявления универсальной природы человека и его бытия в мире. Включившийся в эту дискуссию Сартр отстаивал, разумеется, именно такое понимание этой проблемы.

Тогда, читая «Слова» Сартра, я не нашел каких-то прямых философских вопросов, на которые я мог рассчитывать, еще только приступая к чтению этой книги. И хотя Сартр для меня – после того, как я познакомился с его философскими работами, – и не стал самым любимым философом, но я понимаю роль и значение, которую он сыграл и которое имел в философской жизни XX столетия (хотя, повторяю, особой симпатии я к нему не испытываю). Мне было известно, что автор, написавший книгу «Слова», – не просто писатель, но и человек, который является философом. И я читал эту книгу как текст, написанный философом. Хотя, повторяю, нет у меня ощущения некоего философского градуса этой книжки. Но если с сегодняшней точки зрения ее рассматривать, то, возможно, такой ракурс может быть найден. Ведь в принципе не может быть запрета представлять с философской точки зрения любую тему, предмет или явление. В этом

смысле мне кажется важным урок, преподнесенный нам эпохой постмодернизма (ведь это можно признавать и не будучи поклонником этой культуры). Я полагаю, что следует признать, что постмодернизм осуществил определенное раскрепощающее и освобождающее действие на философию, на литературоведение, на всю гуманитаристику – когда предметом исследовательского интереса может стать любая вещь, любая деталь, любая частность: например, конфигурация уха или флакон одеколона могут стать предметом философского интереса. Так, Сартра (еще до всякого постмодернизма) вдохновила гуссерлевская феноменология в силу того, что в рамках этого подхода любая вещь могла стать предметом философского внимания. Известна такая история. После того, как Раймон Арон, приятель молодого Сартра, побывал на стажировке в Германии, он встретился с Сартром в кафе, где они сидели и разговаривали. И Арон говорит Сартру, что вот, мол, есть в Германии такая философская школа, такое направление философское – феноменология Гуссерля, – согласно которой, то, что мы сейчас сидим здесь и разговариваем, – это может быть предметом философского анализа и осмысления. И Сартр загорелся желанием познакомиться с этой школой и направлением и сам поехал на стажировку в Германию. Когда он вернулся во Францию, одну из первых своих работ он посвятил феноменологической проблематике. Так вот, я говорю, что постмодернизм в этом смысле осуществил освобождающее воздействие, где мы можем связать что угодно с чем угодно, но при этом это может быть серьезный и осмысленный взгляд на вещи.

Я пытаюсь сейчас вспомнить какие-то эпизоды своего детства и юности, какие-то жизненные впечатления того времени, в которых можно было бы усмотреть какие-то «знаки», отсылающие к философии. Вспоминается два таких эпизода.

По-моему, в 10-ом классе школы я писал домашнее сочинение на тему толстовского романа «Война и мир». Я уже не помню, как конкретно формулировалась тема. Обычно это звучит так: «Образ того-то» или «Тема такая-то», но я обратился к теме осмысления истории и, прежде всего, осмыслению войны в романе Толстого. И в этом своем сочинении я попытался подойти к феномену войны, представленному в романе, не с точки зрения установления природы и сущности этого явления или раскрытия его внутреннего содержания, – когда, скажем, война рассматривается как ситуация, где применяется насилие, ситуация, где оно узаконено, где обнаруживаются внутренние, глубинные нравственные и психологические качества человека и тому подобное. Меня же интересовало не само это содержание (природа войны), но я попытался представить такой взгляд на это явление, где само восприятие этого явления (или понимание

его природы) определяется некой позицией, в которой находится наблюдатель, – тот, кто наблюдает войну, говорит о ней или оценивает ее. И тогда ситуация, в которой находится солдат в окопе под обстрелом или же идущий в атаку с криками «ура!», – это одно видение войны. Ситуация, которая открывается командующему армией – это другое ее видение, а ситуация, например, которая открывается мирным жителям, – это еще другой взгляд. Таким образом, та картина целостной реальности, которая должна показывать нам природу войны как таковой, складывается из отдельных картин реальности, которые определяются позицией наблюдателя. И не в том дело, что это свидетельствует о «субъективности» взгляда. У нас могут быть разные субъективные картины, притом что исходная позиция будет одной и той же. Условно говоря: вы любите такого-то художника или я люблю такую-то еду, а вам это может не очень нравиться. Или какая-то музыка – здесь есть субъективность. Но позиция наблюдателя – это не только и не просто психологическая субъективность, это, скорее, некая «субъектность» взгляда или точки зрения, а субъективность – это нечто вторичное, производное от субъектности. Вот вы сейчас видите это окно под одним углом, а я, который сидит с другой стороны, буду видеть его под другим. И дело здесь не в субъективности взгляда, а в позиции – другая позиция в бытии и она предполагает другой ракурс рассмотрения. В романе Толстого есть известный и очень важный эпизод, когда Пьер Безухов издала наблюдает за сражением, которое ведут французы, наступающие на русские редуты. И этот взгляд стороннего (но приближенного к предмету) наблюдателя, гражданского человека, позволяет ему увидеть военное сражение, вообще войну как нечто совершенно иное, нежели впечатление непосредственных участников боя. Я полагаю, что этот подход, который я пытался провести в своем сочинении, действительно является по своему существу философским. Когда я пытался провести эти рассуждения в своем сочинении, я лишь чисто интуитивно ощущал их философский характер. Я не знал тогда, что возможны какие-то теории, понятия или подходы, которые будут говорить о месте в бытии, о позиции наблюдателя, об образе мира и так далее. Через несколько лет, когда уже учился в университете, я познакомился с этими вещами в связи с изучением логики и теории познания буддизма, а также в связи с рассмотрением различных семиотических подходов и сюжетов. Но те идеи, которые я представил в своем сочинении в связи с рассмотрением темы войны в романе Толстого, были, я думаю, первым «философским делом», которое я в своей жизни делал (полагая, что я просто провожу какие-то свободные размышления в рамках анализа художественного произведения). Я помню реакцию преподавательницы литературы. Она поставила мне за сочинение «отлично» (я обычно все

работы так писал). Не знаю, насколько она оценила мой подход, но помню, что она сказала что-то примерно следующее: «Ну, у тебя голова какая-то особая». Это не было особой похвалой, и не было упреком, а было, скорее, констатацией. Да, любопытно... А вот моя одноклассница удосужилась получить от нее высокую похвалу: учительница была очень довольна достоинствами ее работы и посоветовала ей поступать на филологический факультет. У меня же она таких достоинств не обнаружила, но необычность подхода все же почувствовала.

...Вспоминается еще такой эпизод. Помню, как сейчас, одно детское впечатление. Кажется, это было лето, помню солнечный свет, освещающий комнату. Знаю, что мне не надо идти в школу, было какое-то чувство свободы. Где-то на кухне хлопчет мать. И вот, я отчетливо осознаю: сейчас в этот момент я готов умереть без всякого страха и каких-то переживаний. Это будет похоже на то, как если я просто закрою глаза и усну, ведь в момент сна окружающая реальность для нас перестает существовать. Точно так же я могу сейчас просто закрыть глаза, и если мне скажут: «Готов ты умереть?», я скажу: «Да, легко». Мысль эта была совершенно неэмоциональная и как бы логически очевидная. Обычно же у нас есть какие-то страхи и опасения: можно заболеть, попасть под машину, утонуть и тому подобное. Спротивление возможной смерти почти всегда присутствует в глубине человеческой души, можно даже сказать, в глубине человеческого существа. Я вовсе не был героем, не ведающим страха, но здесь я находился в особом состоянии сознания (или же это состояние было во мне), когда жить и умереть, быть и не быть казалось равнозначным. Вот, значит, тогда я испытал такое странное, удивительное состояние сознания. Оно больше никогда потом не повторялось, но это странное состояние я очень хорошо запомнил. О чем свидетельствует этот эпизод, я не знаю. Может, толчок к появлению этого состояния дала смерть прабабушки, которая жила с нами и умерла за полгода до того. Но после этого я стал думать, что такое смерть, в чем она выражается и что она означает. Конечно, эти размышления не оформлялись мною философскими понятиями и категориями, но пережитый мною опыт самосознания я тогда обрел и, возможно, это способствовало в будущем выбору философского пути.

В каком-то смысле каждый человек осуществляет опыт самопознания. Вы знаете, что у Николая Бердяева есть известная книга, называется «Самопознание». Я не очень люблю этого философа, поскольку для меня он являет собой не столько тип мыслителя, а, скорее, является своеобразным сейсмографом духовной жизни, культурных и общественных сдвигов и потрясений. Прежде чем задать вопрос, Бердяев уже дает ответ, он не обмысливает вопрос, но знает его уже в виде ответа: для него мир не

существует в вопросительной форме, как, скажем, для Хайдеггера или Мерло-Понти. И в «Самопознании» у него есть все что угодно, но там нет одного – самопознания, его, как мне кажется, там нет. Каким автор начинает свое повествование, таким же он остается по его завершении: никакого опыта самопознания не происходит. Возможно, эту книгу следует рассматривать как некий его философский манифест, который Бердяев сформулировал на основе своей жизни, как своего рода философское *credo*.

Я уже говорил вам, что выбор философского образования произошел в значительной степени потому, что для меня важно было удержать вместе естественнонаучную составляющую моих интеллектуальных интересов и гуманитарную. Я рассказывал о возникшем у меня интересе к логическому осмыслению математических (геометрических), а потом и физических понятий и действий. И я попытался также показать, как и в гуманитарной составляющей для меня забрезжили философские темы и подходы в связи с «Войной и миром» Толстого. Толчок к постановке вопроса о роли наблюдателя в истории – я его только немного обобщил – я получил от самого автора романа. В романе есть важное место, я о нем уже говорил, когда Пьер Безухов наблюдает сражение, где звучат выстрелы, разрываются ядра, где люди кричат, падают, умирают и т. д. А Безухов смотрит на все это не как участник, а как наблюдатель. И вот в его голове возникает ситуация непонимания и ужаса. Что же это такое происходит? Что же вообще происходит с людьми – обычно нормальными и разумными существами? Почему же вдруг они начинают друг друга убивать, кромсать, увечить? Этот вопрос постоянно находился в поле внимания Толстого, и в другом своем романе («Анна Каренина») он снова повторяет прием описания ситуации не участником события, а наблюдателем, неангажированным, невтянутым в ситуацию. (Например, Вронский, мысли которого заняты разыгравшимися обстоятельствами личной драмы, сидит в театре и воспринимает танцующих на сцене балерин как какое-то непонятное и абсурдное явление, вообще неуместное в человеческой реальности.) Скажем, вы можете наблюдать через оконные стекла домов или витрины кафе сидящих, движущихся, размахивающих руками, разговаривающих людей. Но если мы это все только видим, но не слышим слов, которыми обмениваются общающиеся люди, то тогда нам эта ситуация будет представляться крайне странной. Эпизоды толстовских романов являются примерами феномена «остранения», – впоследствии это понятие было введено и широко использовалось писателем и теоретиком литературы Виктором Шкловским. Примерно тогда же немецкий поэт и драматург Бертольд Брехт создает свою собственную театральную эстетическую

систему, отличающуюся от системы Станиславского. У него актер, представляющий своего персонажа, может и должен проявить и представить на сцене свое собственное к нему отношение – это и будет тем главным, что характеризует брехтовский театр, как он его называл, «театр отстранения». А Толстой использует прием введения отдельного наблюдателя: то, как Пьер воспринимает этот бой – совсем не то, как воспринимают другие, участвующие в нем люди. Это понятие наблюдателя вообще весьма значимо, даже в каком-то общекультурологическом смысле (у швейцарского драматурга Дюрренматта есть пьеса, которая называется «Наблюдение за наблюдателем»).

– Как Вы оцениваете состояние философского образования в МГУ сегодня в сравнении с тем периодом, о котором Вы говорили.

– Состояние дел за последнее десятилетие я не очень хорошо представляю. Я примерно знаю, какие есть кафедры, кто там работает, но оценить общую атмосферу мне трудно. Если говорить о том периоде, когда я учился, я считаю, что во многом мне и моим сверстникам (тем, кто учился немного раньше или позже) в общем-то повезло. Тут нужно иметь в виду следующее. Где-то с начала 50-х годов философское образование, сохраняя в общем-то официозный и в значительной степени догматический характер, все таки стало отходить от той явно политизированной формы, которую философская мысль имела до войны. Даже последние год жизни Сталина, хотя там было много плохих вещей и всяких политических процессов, – но даже при такой достаточно сложной ситуации все-таки на философском факультете были хорошие преподаватели. На факультет приходили для получения образования люди, многие из которых прошли войну, уже имели значительный жизненный опыт и обладали способностью критического отношения к действительности. (К поколению этих людей принадлежал, например, писатель Александр Солженицын, который во время войны, будучи еще молодым артиллерийским офицером, задумывался над идейно-мировоззренческими и общественными вопросами.) Стало приходиться много фронтовиков, среди них был Эвальд Васильевич Ильенков, один из наиболее глубоких знатоков Гегеля.

Известный венгерский философ Георг (Дьердь) Лукач, который был сыном банкира, но, испытав влияние марксизма, вступил в коммунистическую партию, в качестве венгерского коммуниста в 30-х гг. находился в Советском Союзе. А в 1923 году он написал книгу «История и классовое сознание», где дал обоснование исторической миссии пролетариата и научности пролетарской идеологии.

Учение об идеологии создавалось Марксом совместно с Энгельсом, но большая часть их совместной книги «Немецкая идеология» была

написана Марксом. Там подвергаются критике идеологические формы сознания, под которыми понимается ложное и искаженное сознание, дающее превратное представление о действительности. Такое представление о действительности возникает не потому, что люди (идеологи) не обладают необходимой полнотой знаний или же имеют какие-то злонамеренные цели, а потому что само их место в бытии, в социуме таково, что они и не могут иначе представлять действительность. Маркс сравнивает идеологию с камерой-обскурой – таким оптическим прибором, который в то время был достаточно популярен, линза которого давала перевернутое изображение. Мы не можем видеть иначе, как в перевернутом виде, поэтому идеологические формы сознания, по Марксу, должны быть перестроены, перевернуты. А сама критика идеологии Марксом осуществлялась, как он полагал, с позиции науки. Поясню на таком примере. Человеческий повседневный опыт свидетельствует, что Солнце вращается вокруг Земли, а астрономическая наука (Коперник) создает такую теорию, согласно которой не Солнце вращается вокруг Земли, а наоборот. Когда мы в рамках повседневного опыта считаем, что Солнце движется, то на это указывают наши непосредственные чувственные впечатления. Со своего места в бытии мы закономерно порождаем превратную картину действительности. В начале своей научной и политической деятельности Маркс выступает убежденным критиком всякой идеологии. Здесь, может быть, имеет смысл вспомнить происхождение слова «идеология». Рассказывают, что Наполеон в свою военную экспедицию в Египет кроме войска взял с собой целую когорту ученых: астрономов, натуралистов, искусствоведов, архитекторов – для того, чтобы они во время этой экспедиции изучали природу и культуру тех мест. И в отличие от своих военных он называл их всех «идеологами», то есть людьми, занимающимися не вещами и делом, а «идеями». В философии эпохи Просвещения идеология понималась уже как учение об идеях, как система идей. В дальнейшем процессе формирования и развития марксизма как политического учения на передний план выходит историческая миссия пролетариата, который в лице марксистской теории обретает свою собственную, пролетарскую, идеологию. И тогда естественно возникает вопрос: почему другие формы идеологии были ложным сознанием, а пролетарская идеология является истинной? Что же случилось? И вот Георг Лукач дает наиболее глубокое из всех существующих объяснение и обоснование этому. Это что-то наподобие теории предустановленной гармонии, и в двух словах может быть выражено так: пролетариат занимает такое особенное место в истории, где его интересы изначально совпадают с целями истории и, освобождая себя, пролетариат освобождает все

общество, все человечество. Тотальность представления о действительности (или же представление действительности как тотальности) – вот характерная сущностная черта пролетарской идеологии.

Лукач, находясь в Советской России, в общем-то видел противоречия и трагизм советского социализма, но от своих идейно-политических убеждений и теоретических позиций не отказывался. В 1960 году молодой ученый-философ Эвальд Ильенков выпустил свою монографию «Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» Маркса» (к сожалению, в сильно урезанном цензурой виде), где продемонстрировал значимость гегелевской философии и логики, использованных Марксом для выработки собственной методологии своих политэкономических исследований. А за несколько лет до этого события на философском факультете сформировалась группа молодых студентов, в центре которой стоял тогда аспирант, а позднее известный логик и писатель-диссидент Александр Зиновьев. (Он был участником войны, был родом из деревни, имел недюжинные способности и сильное желание самореализации, намерение совершить крупные изменения в общественной науке.) К этой группе принадлежали такие люди, как Борис Андреевич Грушин, впоследствии известный социолог, изучавший проблемы массового сознания, Георгий Петрович Щедровицкий, яркий представитель и разработчик системной методологии и системного подхода, который затем создал работавший на протяжении нескольких десятилетий собственный неформальный семинар, получивший название «Московский методологический кружок». Авенир Иванович Уемов находился в дружеских взаимоотношениях с ним, хотя их системные концепции не во всем совпадали, а в чем-то, может быть, даже исключали друг друга. Но у них была общая цель: им надо было обосновать самостоятельность и правомерность системного подхода. К этой группе присоединился тогда и Мераб Константинович Мамардашвили, как известно, сыгравший важную роль в приближении отечественной философии к традициям европейской мысли и в значительной мере реализовавший себя в качестве свободного мыслителя. (Хотя, может быть, осмысливая в конце жизни свою творческую эволюцию, он ее несколько идеализировал.)

Тогдашняя ситуация в философии, на мой взгляд, характеризовалась тем, что новое послевоенное поколение не отказывалось от исторической картины мира, заданной марксизмом, но видела серьезные искажения и диспропорции, сопутствующие реализации этих идей в реальности общественной жизни той эпохи. Одновременно этими людьми остро ощущался непрофессионализм и убогость мысли многих (если не большинства) идеологических и философских авторитетов, претендовавших

на знание и истолкование идей Маркса. У них было острое стремление и желание перестроить систему науки, образования и жизни, где философия могла бы существовать на достойном уровне настоящего знания и культуры, а не быть вульгаризацией и популяризацией серьезных вещей. И здесь немалую роль сыграли некоторые преподаватели философского факультета, которые довольно таки высоко держали знамя научности в своем предмете. – **А. Н., а могли бы Вы более подробно рассказать о тех преподавателях, у которых Вам довелось учиться на факультете?**

– Уже на первом курсе среди преподавателей выделились три крупные фигуры. Первая – это, конечно, Валентин Фердинандович Асмус, который читал у нас курс истории античной философии. Эта, конечно, фигура крупного масштаба. Кроме того, что он был автором многих серьезных книг, он был единственным советским философом – членом Международного института философии в Париже (видимо, потому что им была написана монография, посвященная научно-философским взглядам Рене Декарта), а также был чуть ли не единственным советским философом того времени (во всяком случае, на факультете), который не состоял в партии. Возможно, он имел и определенные (скрытые) религиозные убеждения, но это точно мне не известно. Зато было известно, что на похоронах опального Бориса Пастернака он выступил с надгробной речью – когда другие боялись даже подойти к месту погребения. Это, конечно, был мужественный гражданский поступок.

Однако, должен признаться, сами лекции Асмуса особого интереса у меня не вызывали. Он их читал, именно зачитывал вслух свои конспекты – исписанные тонкие школьные тетрадки. В этих своих лекциях он излагал учения древних мыслителей, давая при этом необходимую важную и полезную информацию, указывая также на соответствующие недостатки этих учений с точки зрения марксистской философии, – но и признавая в тоже время высокие достоинства этих учений и их философскую значимость. Например, Платон был идеалистом, но это был «умный» идеалист, и мы видим глубоко разработанную им диалектику бытия и познания и т. д. Чего мне не хватало на лекциях Асмуса, так это актуализации исторического материала, который он излагал, а также выражения им собственной позиции по излагаемым вопросам. (К тому же уже как пару лет назад он издал свой курс лекций по античной философии в качестве учебника, и там, конечно, материал излагался более подробно и обстоятельно.)

В отношении Валентина Фердинандовича Асмуса, я думаю, многое объясняется тем, что он входил в философию (и долгие годы жил в ней) в очень сложное революционное и послереволюционное время, из которого не все выходили живыми. Надо сказать, что в 20–30-х гг. Асмус выступил

как автор ряда глубоких и серьезных в теоретическом отношении работ, среди которых были такие книги, как «Диалектический материализм и логика», «Марксизм и современный буржуазный историзм», «Очерки по истории диалектики Нового времени». Я думаю, что равных этим работам в тот период не было. (О лосевском «восьмикнижии» мы сейчас говорить не будем.) Но вся эта эпоха войны, террора, потом, смутные последние годы жизни Сталина и личные злключения Асмуса (после войны он был арестован на какое-то, к счастью, достаточно короткое время) несомненно сказались на его лекторской и авторской манере. Кто-то когда-то назвал известного украинского поэта Павла Тычину, издавшего в ранней молодости книгу почти верленовских лирических стихов «Сонячні кларнети», «испуганным гением». Он начинал как крупный поэт-лирик, но советская эпоха заставила его приспособливаться, в результате чего он, видимо, утратил часть своего дара. Я вовсе не хочу сказать, что дар покинул Валентина Фердинандовича, – совсем нет. Но я думаю, что эпоха все-таки помешала ему воспользоваться своим даром в полной мере. Авенир Иванович Уемов, у которого Асмус был научным руководителем в аспирантуре, рассказывал, что когда он спрашивал его о каком-то вопросе, то тот говорил: «тут надо почитать Бергсона, а вот здесь у Когена, а это возьмите у Канта» и т. д. Но ведь философия все-таки предполагает личностную позицию: Кант – это Кант, но как я это вижу? Такой актуализирующей проблематизации античного наследия я у Асмуса не чувствовал, но в целом облагораживающее и воспитательное воздействие его фигура, безусловно, имела.

(Уж на втором курсе семинары по истории философии Нового времени в нашей группе вела Нелли Васильевна Мотрошилова. К тому времени уже вышла ее книжка по феноменологической философии Гуссерля периода «Логических исследований», которую я читал, и только-только появилась другая ее книга «Познание и общество», где очень проблемно – и актуально для современной философской и культурной ситуации – был представлен материал по философии Нового времени.)

Особенно я выделил бы лекции по общей психологии, которые нам на первом курсе читал Петр Яковлевич Гальперин. (Он тогда уже был не очень молод, еще не был профессором, хотя уже защитил очень серьезную в теоретическом и практическом отношении докторскую диссертацию, в которой представил разработанную им оригинальную теорию поэтапного формирования умственных действий.) Это было очень интересно. В своих лекциях, которые он читал без риторических изысков, но свободно и с полной ясностью, он излагал историю психологии, давал факты, которые получали у него соответствующее теоретическое осмысление и, что также

имело значение для формирования философского кругозора, это то, что естественнонаучный материал психологической науки он дополнял широкими историко-культурными («гуманитарными») ассоциациями. И у него всегда было собственное видение проблемы, была собственная теоретическая позиция.

Гальперин формировался в школе замечательного советского психолога Льва Семеновича Выготского. (Тот довольно рано умер от туберкулеза, его школу разогнали, и многие его сотрудники и коллеги потом сами стали выдающимися учеными. В 60-е гг. его теоретическое наследие стало постепенно возвращаться: были изданы «Психология искусства», «Речь и мышление» и другие работы).

Выготский разрабатывал культурно-историческую концепцию понимания психологии и его предмета, и Петр Яковлевич также мыслил в рамках этого направления. Он читал интересные (хотя и довольно строго) лекции, где я впервые услышал, например, о книге Фрезера «Золотая ветвь», в которой был собран огромный материал по истории культуры, религии и магии. В своих лекциях Гальперин упоминал эпизоды из рассказов Джойса, собранных в сборнике «Дублинцы». Вспоминал эпизоды из собственного детства, как его дедушка учил его читать по священному писанию и показывал, как пишется имя Бога, читать которые, однако, не следует. Должен сказать, что я весьма серьезно занимался по психологии: готовил конспекты, брал дополнительные книги из библиотеки, штудировал их, делал из них выписки, и у меня получилась толстая тетрадь конспектов. К моему огорчению, однажды на перемене одной лекции эта тетрадь исчезла с моего стола, ее у меня просто украли. Это меня очень огорчило и, я решил больше таким тщательным образом конспекты не вести. И это было правильное решение, потому что для работы мысли в конспекте важна не тщательность, но выделение и отбор самого существенного.

Лекции по логике читал Евгений Казимирович Войшвилло, который издал перед этим свою монографию, посвященную проблеме понятия. В этой своей работе он обосновывал значимость формально-логического понимания мышления, используя при этом методы современной математической логики. Вот здесь мне необходимо будет вернуться на некоторое время к сюжету, о котором я уже начал говорить, – без этого я не смогу пояснить значение лекций Войшвилло. И я сейчас снова обращаюсь к тому периоду, когда в начале 50-х гг. на факультете сложилась группа Зиновьева, Грушина, Щедровицкого, Мамардашвили, преподавателем которых был Ильенков. В то время на факультете велась борьба между представителями формальной логики и логики диалектической. Существовала кафедра логики, где изучались традиционные разделы

формальной логики, которые были заданы еще Аристотелем, а также то, что делалось в логике уже после него. Но в это же, примерно, время, о котором я веду рассказ, возникло направление (а затем появилась и отдельная кафедра) под названием «Диалектическая логика». Поскольку в философии марксизма важнейшее место занимает диалектика как метод, то считали, что и логика должна быть построена на диалектической основе. Представители этого направления на факультете полагали, что традиционным разделам формальной логики (учению о понятии, о суждении, об умозаключении) нужно противопоставить новое, уже диалектико-логическое учение о понятии, суждении и умозаключении. Люди, которые отстаивали это понимание логики, не были особо грамотными и также не были особо отягощены интеллектом: я не сказал бы, что они вообще были невеждами, но, во всяком случае, какой-то особой творческой мысли у них не обнаруживалось. Они спекулировали на том, что диалектика – это неотъемлемая черта марксистской традиции мышления, а поскольку Марксов материализм есть материализм диалектический, то, следовательно, все должно быть «диалектизировано». Их главная идея заключалась в том, что если диалектика – это учение об изменении и развитии, то и логические формы мысли должны быть текучими и подвижными. Дело доходило до смешного. Когда одного студента, защищавшего диплом, где он отстаивал идеи диалектической логики, кто-то спросил на защите, может ли он привести пример диалектико-логического понятия, тот ответил: «Например, «вода». – А пример формально-логического понятия: – «Стол»!

И вот, значит, Александр Зиновьев представляет к защите кандидатскую диссертацию, где подвергает «Капитал» Маркса анализу с точки зрения логики. Если раньше эта работа Маркса исследовалась с исторической точки зрения и с точки зрения теории политэкономии, то Зиновьев рассмотрел «Капитал» в качестве образца логики исследования сложных систем. До этого ничего подобного не было ни у нас, ни на Западе. Защита происходила при переполненном зале, была острая дискуссия: «диалектикам» был дан бой, и они его проиграли.

В 1967 г. (это год моего поступления в университет) Евгений Казимирович Войшвилло издал монографию, посвященную понятию, где использовал методы математической логики и представил вопросы формальной логики уже на совершенно новом современном научном уровне: это была уже не старая, во многом аристотелевская, логика, а современная, «математизированная» логика. (Я употребляю это слово, поскольку выражение «математическая логика» предполагает ее понимание как части математики – как метаматематику; Войшвилло же

читал нам курс именно по логике, рассматривая при этом и ее общие теоретико-познавательные возможности.) И мы изучали сначала курс логики (формальной), но уже «математизированной», а потом уже, другой курс – логики собственно математической.

Лекции Войшвилло определили выбор темы моей первой научной курсовой работы. Она касалась формально-логического закона об обратном отношении между объемом и содержанием понятия: «чем больше объем понятия, тем уже его содержание и наоборот». Если у нас есть понятие дерева вообще и понятие хвойного дерева, то объем понятия дерева вообще больше, но содержание его уже, чем у понятия хвойного дерева – и наоборот. В своих лекциях и монографии Войшвилло отстаивал непреложность этого формально-логического закона и подверг критике попытку пересмотра этого закона Эрнстом Кассирером, известным представителем неокантианской школы.

Но меня заинтересовали кассиреровские идеи, я обратился к его работе и попытался, используя методы математической логики и не отвергая при этом формально-логического «закона обратного отношения», реабилитировать позицию Кассирера. (В 30-е гг. он эмигрировал из Германии в США и там продолжал писать книги, но уже на английском языке, и, надо сказать, он – один из немногих авторов, чьи английские (чужого для него языка) тексты были грамматически и стилистически безупречными.) В Америке Кассирер разработал свою «философию символических форм», но в книге «Познание и действительность» он выступал еще с неокантианских позиций. И там он, опираясь на опыт математического познания, проводит различие двух родов понятий: понятий о субстанции и понятий о функции. Примерами понятий первого рода являются такие понятия, как «атом», «теплород», «дерево», а примером понятий второго рода могут служить, например, понятия аналитической геометрии, где, например, функция, описывающая определенную конкретную кривую, является производной от функции, описывающей определенный класс таких кривых: т. е. из формулы, задающей (выражающей) функцию, описывающую данный класс кривых, логически вытекает формула, задающая (выражающая) функцию, описывающую конкретную кривую. Здесь не опровергается закон обратного соотношения объема и содержания понятия, но некоторым образом ограничивается в том смысле, что более общее понятие функций оказывается более эвристичным.

Мои идеи нашли поддержку у Вячеслава Александровича Бочарова, который вел у нас семинарские занятия по логике, а потом читал курс математической логики, и он согласился быть моим научным

руководителем. Я помню, как защищал на кафедре свою работу. Войшвилло поначалу не соглашался со мной, но все же мне – при поддержке Бочарова – удалось убедить его в обоснованности своей точки зрения. Эта моя работа строилась не столько на эрудиции, сколько на решении определенной познавательной задачи. Для подготовки такой работы нельзя просто что-то прочитать, недостаточно было использовать уже какие-то существующие аргументы, как-то объединить их – мне нужно было дать решение, которое еще следовало найти. Жизнь в общезнании не очень располагала к сосредоточению. Помню, как я приезжал в выходные дни в город и шел во дворик на Маховой (тогда – проспект Маркса), где находилось старое здание философского факультета. Там было тихо и везло на хорошую погоду, мне никто не мешал, и я там несколько часов проводил во внутреннем сосредоточении. Я потому сейчас об этом говорю, что я тогда впервые испытал удивительное наслаждение от такого рода размышлений. Далеко не все темы и проблемы, рассматриваемые в философии, порождают подобное состояние. Тогда и появилось желание искать именно такие проблемы, которые можно было решать таким вот образом.

Теперь я хотел бы провести некое различие между моим поколением и предшествующим. Когда мы пришли, мы уже встали на «плечи» тех людей, которые до нас уже совершили определенный прорыв. Того духа вульгарности и идеологической зашоренности, которая была в 50-е, в мое время уже не было. Начали переводить западную философскую литературу. Её можно было брать в библиотеках, у друзей. Тогда перевод западной философской литературы осуществлялся не для использования широкой публикой; многие книги выходили под грифом «для служебного пользования», книге мог присваиваться определенный номер экземпляра. Много хорошей литературы, зарубежной и отечественной, выходило в области психологии, которая была менее идеологизирована, при этом там рассматривались проблемы, близкие философии. Я уже отмечал влияние лекций Петра Яковлевича Гальперина и говорил о своей увлеченности психологией, которую (как и позже социологию) я от философии не «отрезал». Но когда я сдавал экзамен за весь курс психологии, я отвечал по билету преподавательнице, которая вела семинарские занятия у нас в группе (сам Гальперин семинары не проводил, а читал только лекции), и она поставила мне «хорошо». Это была единственная «четверка», полученная мною за все годы обучения на факультете, но тему своей дипломной работы (не без желания реабилитации!) я выбрал по генетической эпистемологии швейцарского психолога Жана Пиаже, и в моем дипломе указано название этой работы с оценкой «отлично». Позже,

когда я поступал в аспирантуру института истории естествознания и техники, это сыграло положительную роль: директор института академик Бонифатий Михайлович Кедров одобрил мои научные интересы и предложил мне стать моим научным руководителем.

Хотелось бы также немного охарактеризовать состояние в нашей философии в 60–70-х гг.: это было время, когда я почувствовал стремление к философии, когда я получал философское образование, учился в аспирантуре и работал над кандидатской диссертацией. К тому времени в отечественной философии выделились такие области исследований, которые заслуживают определенного внимания и положительной оценки. Прежде всего, это та область философии, которая является пограничной с естествознанием, и она так и называлась: философские вопросы естествознания. В нее включались философские вопросы таких наук, как физика, математика, кибернетика, биология, а также некоторых других естественных наук. Развитие науки в XX в. – возникновение теории относительности и квантовой механики, развитие генетики и молекулярной биологии, появление кибернетики – породило целый ряд серьезных философских проблем; важно было то, что эти проблемы возникали в самой науке, а не привносились туда философией. В Советском Союзе проходили острые дискуссии по этим вопросам, которым свойственен был чрезмерно идеологический характер, и приходилось часто отстаивать несомненные достижения науки от их вульгарного понимания и идеологической критики (когда, например, эйнштейновская теория относительности называлась идеалистической, а генетика и кибернетика объявлялись лжеучениями, порожденными буржуазной наукой).

В непростые послевоенные годы (точнее, в 1947 г.) вышла книга уже упоминавшегося мною Бонифатия Михайловича Кедрова «Энгельс и развитие естествознания». Следует сказать, что вопреки тому, как сегодня воспринимается ее название, в то время, когда она вышла, оно воспринималось совсем иначе. Хотя Энгельс и признавался соратником Маркса, но за ним не числился тот авторитет, которым обладал его великий друг. Большим авторитетом считался Ленин, хотя и его главная заслуга как будто бы заключалась в том, что он «породил» Сталина, таким образом, классики марксизма-ленинизма выступали в роли коллективного предтечи «великому вождю и учителю всех народов». И вот книга Кедрова пробивает брешь в этом неявно сформулированном идеологическом клише и обращается к наследию Энгельса в связи с вопросами естествознания. После этого появляются серьезные работы Ивана Васильевича Кузнецова и Николая Федоровича Овчинникова, в которых философские проблемы физического познания и философское истолкование физических понятий

получают не поверхностную, а достаточно глубокую и серьезную трактовку. (Кстати, одна из первых работа Умова была написана совместно с Овчинниковым и посвящена была она прояснению внутренней логической связи между законами ньютоновской механики.) Стали проводиться всесоюзные совещания, где наряду с философами участвовали и ученые – физики, математики, биологи, медики.

Следующей областью философии, которую необходимо назвать, было направление, возникшее немного позже и получившее название логики и методологии науки. У его истоков стояли, кроме уже упоминавшегося мною Александра Александровича Зиновьева, и другие философы, например, Владимир Александрович Смирнов, Мирослав Владимирович Попович, Вадим Николаевич Садовский и другие. (Важную роль в формировании этого направления сыграла Софья Александровна Яновская, которая на протяжении многих лет вела на мехмате МГУ научный семинар по математической логике, который в огромной степени способствовал появлению в философии серьезных проблем современной математики и логики.) Это направление, думаю, было одним из наиболее продуктивных областей философских исследований. Конечно, по большому счету, это было освоением доктрины логического позитивизма, идей Венского кружка, Львовско-Варшавской философской школы (к этому времени у нас начали переводиться книги Карнапа, Рассела, Витгенштейна и других представителей этого направления западной философии). Конечно, в отношении этих идей требовалось занимать критическую позицию. Но надо сказать, что в ряде случаев такая критика оказывалась не просто вынужденной, но и осмысленной и продуктивной: философская парадигма, имеющая Маркса своим истоком, в этих вопросах могла в ряде случаев дать более широкий взгляд на рассматриваемые проблемы.

В целом, западной философией можно было заниматься только в порядке ее критики, но через эти критические работы становились известными идеи западных мыслителей: Гуссерля, Хайдеггера, Ясперса, Сартра, Кьеркегора и др. Примерно в это же время возникает и утверждается практика социологических исследований. Их называли «конкретными социологическими исследованиями», что должно было отличать эти исследования от теоретической социологии, разрабатывавшейся на Западе, а на статус марксистской социологии претендовал исторический материализм. Но и здесь также вместе с критикой стали входить в обращение работы и идеи Вебера, Парсонса, Мертона, Миллса, Парето, Лазарсфельда и других теоретиков западной мысли.

Олексій Роджеро

З ІСТОРІЇ РАДЯНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ 60-70-Х РОКІВ (частина 1)

Ця бесіда професора Олексієм Миколайовичем Роджеро з випускниками філософського факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Валентиною Рожковською та Катериною Герман є розширеним варіантом інтерв'ю, яке було взято В. Рожковською та К. Герман у О. М. Роджеро у травні 2017 року у межах проекту «Усні історії філософів» (керівник проекту - професор І. В. Голубович).

Ключові слова: історія філософії, радянська філософія, філософська освіта.

Alexei Rogero

FROM THE HISTORY OF SOVIET PHILOSOPHY OF THE 60-70th YEARS (part 1)

The conversation between Professor Alexei Nikolayevich Rogero and graduates from the Philosophical Faculty of the Odessa Mechnikov National University Valentina Rozhkovskaya and Ekaterina Herman is published here. It is an expanded version of the interview taken by V. Rozhkovskaya and E. Herman from A. N. Rogero in May 2017 as the part of the project «Oral histories of philosophers» (project manager - professor I.V. Golubovich).

Keywords: history of philosophy, Soviet philosophy, philosophical education.

Стаття надійшла до редакції 13.04.2017.

Стаття прийнята 19.05.2017.